

Милосав Бабович

ИДЕИ ГУМАНИЗМА В ОТСТАИВАНИИ ИСТИНЫ

(Два чтения „Доктора Живаго“ Пастернака)

1

Идеи гуманизма следует понимать в их историко-философском значении, то есть не как простой призыв к человечности, а как аффирмацию фундаментальных принципов этого эпохального движения в европейской философии, искусстве и науке. Большинство этих принципов сохранило свою актуальность до наших дней, в первую очередь: борьба против схоластики в мысли; противопоставление законов природы теологии и мистике; объявление земной жизни существенным видом бытия; право человека на „жизнерадостное свободомыслие“, как говорили идеологи Возрождения.

Феномен долговечности идей гуманизма объясняется и долговечностью явлений, против которых гуманизм восставал. Ведь со временем схоластика видоизменялась; на смену религиозному аскетизму пришел идеологическо-партийный; законы природы попирались прагматическими теориями; право личности на свободу постоянно подвергалось узурпации со стороны власти имущих и в буржуазном и социалистическом обществах.

Евангельская параболa о милосердном самаритянине выражает суть понимания человеколюбия: самаритянин вылечил раненного иудея, вопреки вражде их племен. Смысл притчи ясен: видеть в человеке „ближнего“ прежде чем соотечественника, единове́рца, или сословного соратника. Из этого следует логичный вывод, что *дефинирование гуманизма атрибутами национального, конфессионального или классово-идеологического толка несовместим с самой его сущностью, которую надо рассматривать sub specie aeternitatis.*

Гуманизм может ярко проявляться и в раскрепощении людского ума от заблуждений, иначе говоря в смелом отстаивании истины. Однако до того пока не станет общепринятой, смелая истина воспринимается как ересь, за которую „в нашем веке сжигают на бездымных кострах“. Этот афоризм Леонова вполне применим к судьбе „Доктора Живаго“ Пастернака. Роман ошеломил передового европейского читателя не на шумевшими событиями из-за публикации в Италии, а своим содержанием. Ведь в первом чтении повествование воспринималось как клевета на материалистическую философию, марксистское мировоззрение, на Октябрьскую революцию и ее идеологов, на социализм, то есть на ценности, которые считались бесспорными. Озадачивали еще два факта: герой романа — даровитая личность, написавшая талантливую работу о физиологии глаза, а как специалист прослыл „гениальным диагностиком“. Этими двумя свойствами, несомненно символической конотации, автор имплицитно заверял читателя, что *зоркий глаз Живаго все видел, и что врач объективно поставил диагноз о состоянии советского общества*. Кроме того, Живаго не любил привилегированные классы, в жизни которых было так много несправедливости и зла — и оппонировав им, выработал для себя четкую моральную позицию: *частное счастье — не счастье; только жизнь, похожая на жизнь окружающих нас людей — настоящая жизнь*. Наконец, Живаго Октябрьскую революцию оценил как событие эпохального значения, осуществившее миссию России: стать первым социалистическим обществом в мире.

Однако последующие годы советской власти все чаще заставляли Живаго вспоминать реплику Громеко: „Идейная чистота всякого движения живет только в первые дни провозглашения манифестов, а потом вмещивается иезуитство политики, портившее людей и идею“. После восторгов героя, вызванных декретами Октября, автор фиксирует внимание на негативных явлениях жизни, оправдывающих ревизию его начальной позиции и мотивирующих решительное отрицание основ марксизма. По мнению Живаго, „Марксизм слишком плохо владеет собою, что бы мог быть наукой. Науки уравновешены. . . Я не знаю учения более замкнутого в себя, чем марксизм. Из-за мифа о своей непогрешимости власть отворачивается от истины. . .“. Герой отвергает закономерность революции: „Революцию делают активные люди, фанатики, гении самоограничения. Они за несколько часов или дней, свергают старый строй, а затем десятилетиями кланяются, как святыне, духу ограниченности“. Диктатура пролетариата равняется с насилием, а „Насилием не достигается ничего. . . Ваши главари любят щеголять пословицами, а главную забыли: „Силой мил не будешь“ По мнению Лары, революционная дисциплина уродует людей, превращая их в бессердечных аппаратчиков, типа Тиверзина и Антипова, о которых сказано: „Всю жизнь провели возле машин и сами стали холодны и бесчувственны как

машины". Даже образцовый революционер, Стрельников, для Живаго ужасен, и „Ужасен не как преступник, а как машина без управления, как локомотив, съехавший с рельсов“.

Вот такая модель мышления привела Живаго к отрицанию фундаментальных положений исторического материализма, основной ошибкой которого считается программа преобразования жизни: „Когда услышу фразу о преобразовании жизни, я теряю власть над собой. . . Так могут думать люди, никогда не узнавшие, не почувствовавшие дух жизни. Для них экзистенция представляет кусок грубой материи, требующей их обработки. А жизнь никогда не бывает материей. Она — начало беспрестанно обновляющееся и вечно перерабатывающее себя. . . Сама жизнь намного выше наших тупоумных теорий“.

Итак, в основу понимания истории ставится принцип эволюции, а также ставится знак равенства между законами природы и законами общественного развития.

Лара явно иронизирует над марксовской теорией о истории человечества, как непрерывной классовой борьбе: „Только в плохих книгах люди живут разобщенные на лагеря. . . А в действительности всё так переплетено. Каким ничтожеством надо быть, чтобы играть в жизни только одну роль, занимать только одно место в обществе, и быть всегда оным и тем же“.

Принцип коллективности провозглашается неестественным, потому что человек в своей сути — индивидуалист: „Всякая коллективность, говорит Живаго, убежище бездарности, не смотря на то идет ли речь о верности Канту или Марксу. Истину ищут только единицы!“ Ошибка революции в том, что она планировала силой вырвать индивидуализм, теряя из виду факт что страхом можно заставить человека менять убеждения, даже психологию, но нельзя влиять на его биологию.

К тому же оказывается в итоге, что и на сознание нельзя прочно влиять, о чем свидетельствует поведение Живаго: он врач в партизанском отряде, но в сцене сражения с колчаковцами, „Все его симпатии были на стороне детей героически умирающих. От всей души он желал им удачи“. Значит берет верх память о родовитости семьи, когда била и улица Живаго, и банк Живаго, даже и шляпа Живаго.

Все приведенные мысли и положения романа вызывали на полемику. Допуская даже, что автор и герой все справедливо описали, они все таки *ошиблись в том, что фабулярные события трактуют не как грубое отклонение от гуманных идеалов революции, а наоборот, как выявление сущности всякой революции.* Кроме того, у автора и его героя отсутствует представление о том, что Октябрь не удачный переворот заговорщиков, а был подготовлен назревшими социальными проблемами России, требовавшими неотложного решения. Правда, со своей точки зрения они и не могли так осознать революцию.

2

Восприятие и оценка литературного произведения зависят не только от его художественных качеств, а также от внелитературных факторов, среди которых один из важнейших уровень информации читателя и критика о предмете заложенном в основу сюжета произведения. О жизни советского общества имела за границей весьма скудная информация, и почти исключительно официальная, впоследствии удачно названная *лакировкой*. Чтение „Оттепели“ Эренбурга, „Не хлебом единым“, Дудинцева, „Русского леса“ Леонова, „Одного дня Ивана Денисовича“ Солженицина, направляло мысль критика на реминисценции произведений писателей участников или свидетелей революции. У Блока красногвардейца

„Идут без имени святого,
Все двенадцать в даль,
Ко всему готовы,
Ничего не жаль...“

Заметно, что нет ни одной позитивной квалификации. Бабель указал, что жизнь советского общества бюрократия поворачивает на курс расхождения с идеалами революции, поэтому его Павличенко причитает: „Эх, любя ж ты моя, восемнадцатый годок! Расточили мы твои песни, выпили твоё вино, постановили твою правду. *Одни писаря нам от тебя остались!*“ Критика мещанства, дряни, прозвучала сокрушительно в поэзии Маяковского: „Страшнее Врангеля обывательский быт...“ Итд. Стих Есенина „Конечно, мне и Ленин не икона“ знаменует сопротивление культуре личности, достигшему апогея при Сталине. В отрывке мемуаров, Дмитрий Павлов вспоминает как на съезде в 1939 году, критикуя наркома земледелия, Сталин слово *наркомзем* ошибочно произнес как *наркомзём*. Потом все выступающие „стали произносить *наркомзём* вместо *наркомзем*“. Эта сцена достойна пера Гоголя. Если никто не посмел указать генсеку на такую безобидную ошибку, то совершенно ясно, что свобода мысли и слова были сведены на нет.

Мудрый Леонов в „Воре“ не одобрял отмену частной собственности: „Нет, любезный Фирсов, человек без собственности существе дите, ему надо непременно что терять. Оно и мало иметь опасно, еще опаснее ничего не иметь... Я в твою кооперацию не шибко верю: не может купленный человек по-хозяйски чужое добро стеречь“.

Трагедию Стрельникова предвещают судьбы Миронова и Тухачевского. Не случайно возник афоризм: „Революция съедает своих детей“. Смелый Шолохов в поведении Кошечкина наметил прототип чекиста сталинских времен. А Григория Мелехова

возвысил над враждующими лагерями, как предчувствие необходимости *поиска третьего пути*, более гуманного и спасительного.

Итак, почти все явления, использованные Пастернаком в конструкции сюжета, были уже замечены советскими писателями 20—30-тых годов. Разница в том, что эти явления были ими описаны в зародыше, а Пастернак их воплотил, когда они уже достигли кульминации. Отсюда и получился фрапирующий эффект, вызвавший суровую репрессию. Она не доказывала вину, а только показывала дух времени. Ведь в современной советской литературе налицо такой оценочный поворот относительно революции и гражданской войны, с которым „Доктор Живаго“ не идет ни в какое сравнение. Журнал *Наш современник* опубликовал „Лебединый стан“ Цветаевой, воспевающей Корнилова, Донскую, Вандею, даже расисткой закваской пахнут стихи:

„Раб хутородный увидит: Расу:
Черная кость — белую кость...“

Не меньше удивляет и объяснение Вл. Солоухина, почему Цветаева не могла сочувствовать Красной армии. Оказывается потому, что ее командующим был еврей Троцкий. Сам же Солоухин в стихотворении „Настала очередь моя“ видит Россию и ее доблесть не в отваге Красной, а в полках Белой армии:

„Когда, теряя тень надежды,
Наперевес неся штыки,
В пропахших порохом одеждах
Шли Белой гвардии полки,

А пулеметы их косили,
И кровь хлестала, как вода,
Я мог погибнуть за Россию,
Но не было меня тогда...“

Выходит так: сели бы Солоухин в годы гражданской войны был в возрасте солдатском, то он сражался бы в рядах Белой армии. При сравнении боли Живаго за погибающих колчаковцев со стихами Солоухина, остается впечатление, что у обоих поэтов звучит призыв к переоценке белогвардейского движения.

Параллельно с возрастанием информации о жизни советского общества, неминуемо менялось и отношение критики к идейно-философскому плану романа Пастернака. Мысли его, в первом контакте воспринятые как клевета, получали реальную мотивировку и тем самым становились исторической истиной. Память читателя назойливо повторяла пословицу: „Неча пенять на зеркало, коли рожа крива!“

„Доктор Живаго“ раскрыл, по крайней мере, две закономерности: первая в том, что абсолютная власть непременно пе-

реходит в своеволие. Предоставляя себе привилегии, социалистическая власть снова разделила общество на классы. Этот процесс в Югославии запечатлен в книге М. Джиласа „Новый класс“. На транспарантах все еще красовались революционные лозунги, претендуя даже на незыблемость их истин, вопреки тому, что действительность показывала вопиющее несогласие с ними. По мнению репрессированного Дудорова, это и было причиной политики насилия: „Что бы скрыть неуспех, надо было всеми средствами запугивания отучить людей самостоятельно думать и оценивать, заставить их видеть то, чего нет и доказать им противоположное очевидности...“

Вторая закономерность, раскрытая в романе, в том, что и социалистическая идея о преобразовании мира споткнулась на эгоизме человеческой природы, как и предыдущие гуманные движения. Евангельская этика при всей своей чудесной гуманности, не могла помешать внедрению изуитства. Над лозунгом французской революции о равенстве резонно иронизировал Достоевский в солилокви: „Дает ли революция каждому миллион? Не дает. Человек без миллиона равен ли миллионеру? Нет. Что осталось от лозунга о равенстве? Ничего!“ Истсрик югославской революции, Дедиер, недавно заявил: „Величественную партизанскую этику и идею слопал желудок правящей верхушки!“. А романист Лалич песней, спетой бойцами, доказывает что отказ от равенства начался гораздо раньше победы. Подстрочный перевод стихов гласит:

„Мы дружно восстали, кандалы порвали,
В будущее спешим, но видно, что с грешком:
Кто то в седле, кто то пешком!“

После провала многих иллюзий и горького опыта, с какой стати винить Пастернака за то, что раскрыл правду о трагизме миллионов людей, а тем самым и идеи? Напротив, за это он заслужил признание, ибо это вечный долг поэта: *говорить миру истину!* Однако отдавая должное поэту, надо оговориться от несостоятельного провозглашения Пастернака гением-мыслителем, которому во всем надо верить больше, чем Марксу и Ленину. А такая тенденция весьма заметна в современной советской публицистике. В статье „Благовещизм поэта“, например. Андрей Вознесенский договорился до мистики: „Пастернак присутствие бога в нашей жизни“. Сам бог определил именно Пастернака для „миссии извечного русского противостояния: поэт и царь, власть и дух“. Тирада заканчивается утрачающей бессмыслицей: „Даже инициалы Б. П. говорят о его беспартийности!“

Образованному читателю конца XX века грустно и обидно читат такую поповщину от поэта, считавшегося официально советским писателем!

Милосав Бабозић

ИДЕЈЕ ХУМАНИЗМА У ОДБРАНИ ИСТИНЕ

(Два читања „Доктора Живаго“ Пастернака)

Резиме

Рад „Два читања Доктора Живаго Бориса Пастернака“ је ауторов реферат на Међународном симпозијуму о теми *Идеје хуманизма и савремена литература*, одржаном на Московском универзитету 1990. године.

Три основне мисли које се излажу су: суштинска уметникова мисија да уметничким делом открива и брани истину, у духу поетике критичког реализма, израженом девизом „Ко ће ако не песник говорити свету истину?“. Уметникова идејна позиција, од које у великој мери зависи и његово схватање историјске стварности и истине, не мора бити кохерентна са мишљењем већине, напротив, често је самосвојна и делује јеретички. Доживај уметничког дела и његова оцена не зависе једино од вредности песничке слике, у глобалном значењу термина, већ и од нивоа информација о стварности животној, садржаној у сижеу и фабули дела.

Све три тезе се примењују на судбину Пастернаковог романа „Доктор Живаго“, чије су оцене Октобарске револуције, грађанског рата и социјализма, као теорије и праксе, изазвале оштре реакције власти и негативне оцене књижевне критике. Међутим, како је текао процес демократизације совјетског друштвеног живота и културе, све више откривених чињеница је сведочило да је Пастернак казивао истину. То је књижевне историчаре упућивало на тражење и испитивање неслагања са праксом грађанског рата најдаровитијих руских писаца: Блока, Јесењина, Мајаковског, Шолохова, Леонова, Бабелја. Са друге стране, критичност оцена револуције и грађанског рата у савременој руској књижевности превазилази све негативне експлицитне судове и имплицитне закључке „Доктора Живаго“.

На крају, аутор рада сматра да је драматична судбина овог романа потврдила две законитости: прву, перманентног удаљавања стварности од прокламованог идеала; другу, социјалистичка идеја о преображају света спотакала се о људски егоизам, као и хришћанство и програм француске револуције.

